

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ

Участвуя в лотереях «Спортлото» и «Спортпрогноз», Вы вносите свой вклад в развитие физкультуры и спорта. Сотни спортивных сооружений в больших и малых городах страны построены с участием доходов от этих спортивных лотерей.

Тиражи обеих лотерей проводятся еженедельно.

Выигрыши в «Спортлото» — от трех до 10.000 рублей; в «Спортпрогнозе» — также до 10.000 рублей.

Каждый билет «Спортлото» участвует в тираже двумя игровыми вариантами. Он выигрывает, если с результатами тиража совпадет не менее трех зачеркнутых номеров в одном из вариантов.

В «Спортпрогнозе» выигрывает тот билет, в котором угадан исход 13, 12 или 11 встреч в любом из вариантов этого билета.

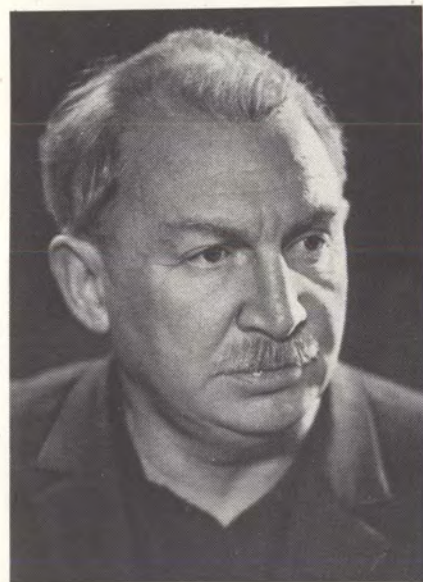
Удач в игре, успехов в физкультуре и спорте желает Вам Главное управление спортивных лотерей при Госкомспорте СССР.



ОГОНЁК

№ 27

1988



Борис СЛУЦКИЙ

МОСКВА

ИЗДАТЕЛЬСТВО

«ПРАВДА»

БЕЗ ПОПРАВOK

Борис СЛУЦКИЙ

БЕЗ ПОПРАВOK

СТИХИ

Москва. Издательство «ПРАВДА»
1988

Борис СЛУЦКИЙ
(1919—1986)

Поэт родился 7 мая 1919 г. в Славянске на Украине. Детство и отрочество прошли в Харькове, в одном из его рабочих районов. Там же завязалась много значившая в жизни обоих дружба с Михаилом Кульчицким.

После окончания школы поступил в Московский юридический институт. Еще через два года — по рекомендации П. Г. Антокольского — в Литературный. Учился одновременно в двух институтах. Входил в творческое содружество молодых поэтов, среди которых были Павел Коган, Давид Самойлов, Николай Глазков, Михаил Кульчицкий, Сергей Наровчатов. Впервые опубликовался в подборке «Стихи студентов Москвы» в мартовской книжке журнала «Октябрь» в 1941 г.

Воевал в Белоруссии, под Москвой. Участвовал в освобождении Украины, Венгрии, Болгарии, Румынии, Югославии, Австрии. Награжден боевыми орденами. Майором гвардии и инвалидом Великой Отечественной войны вернулся в Москву в 1946 г.

Со стихотворения «Памятник», опубликованного в «Литературной газете» 15 августа 1953 г., и со статьи И. Г. Эренбурга о его стихах началась поэтическая известность Бориса Слуцкого. В разные годы выходили книги его стихов: «Память», «Время», «Сегодня и вчера», «Работа», «Современные истории», «Годовая стрелка», «Доброта дня», «Продленный полдень», «Неоконченные споры», «Сроки».

Наиболее полно его поэзия представлена в книге «Избранное» (1980). В то же время многие стихи поэта, опубликованные в периодике, до сих пор не собраны в книги.

Скончался 23 февраля 1986 г. Его поэтический архив велик. Эта книга — его небольшая часть.

* * *

Снова нас читает Россия,
а не просто листает нас.
Снова ловит взгляды косые
и намеки, глухие подчас.

Потихоньку запели Лазаря,
а теперь все слышнее слышны
горе госпиталя, горе лагеря
и огромное горе войны.

И неясное, словно движение
облаков по ночным небесам,
просыпается к нам уважение,
обостряется слух к голосам.

* * *

Зачем, великая, тебе
со мной, обыденным, считаться?
Не лучше ль попросту расстаться?
Что значу я в твоей судьбе?

Шепчу, а также бормочу.
Страдаю, но не убеждаю.
То сяду, то опять вскочу,
хожу, бессмысленно болтаю.

Не умолю. И не смолчу.

* * *

Я строю на песке, а тот песок
еще недавно мне скалой казался.

Он был скалой, для всех скалой остался,
а для меня распался и потек.

Я мог бы руки долу опустить,
я мог бы отдых пальцам дать корявым.
Я мог бы возмутиться и спросить,
за что меня и по какому праву...

Но верен я строительной программе.
Прижат к стене, вися на волоске,
я строю на плывущем под ногами,
на уходящем из-под ног песке.

1952

* * *

Мировая мечта, что кружила нам голову,
например, в виде негра, почти полуголого,
что читал бы кириллицу не по слогам,
а прочитанное землякам излагал.

Мировая мечта, мировая тщета,
высота ее взлета, затем нищета
ее долгого, как монастырское бдение,
и медлительного падения.

ЧАЕТОРГОВЦЫ

Боткины, Высоцкие, Поповы!
Попрекну, замечу и попомню
заводил, тузов былой Москвы.
Экий чай заваривали вы!

Выдавая дочерей за гениев,
посылая младших сыновей
то в друзья к Толстому и Тургеневу,
то в революционный ветровей.

Крепок сук был тот, где вы сидели.
Только все наследники — при деле:

ни на миг не покладая рук,
весело рубили этот сук.

Чай индийский, чай цейлонский, чай японский.
Царского двора поставщики.
Споры, и открытия, и поиски.
Революции вестовщики.

Где же ты сегодня, чай спитой,
молодым и незнакомым племенем
до последней черной запятой
вываренный?
А также временем.

Есть старухи, гордые, как павы,
прóдавшие все и до конца
вплоть до обручального кольца —
Боткины, Высоцкие, Поповы.

* * *

В революцию. типа русской,
лейтенантам, типа Шмидта,
совершенно нечего лезть:
не выдерживают нагрузки,
словно известняк — динамита,
их порядочность, совесть, честь.

Не выдерживают разрыва,
то ли честь, то ли лейтенанты,
чаще лейтенанты, чем честь.
Все у них то косо, то криво,
и поэтому им не надо,
совершенно не надо лезть.

Революциям русского типа,
то есть типа гражданской войны,
вовсе не такие типы,
не такие типы нужны,
совершенно другие типы
революции русской нужны.

Трибуна

Вожди из детства моего!
О каждом песню мы учили,
пока их не разоблачили,
велев не помнить ничего.
Забыть мотив, забыть слова,
чтоб не болела голова.

...Еще столица — Харьков. Он
еще владычен и державен.
Еще в украинской державе
генсеком правит Косиор.

Он мал росточком, коренаст
и над трибуной чуть заметен,
зато лобаст и волей мечен
и спуску никому не даст.

Иона, рядом с ним, Якир
с лицом красавицы еврейской,
с девическим лицом и резким,
железным

вымахом руки.

Петровский, бодрый старикан,
специалист по ходакам;
и Балецкий, спец по расправам,
стоят налево и направо.

А рядышком: седоволос,
высок и с виду — всех умнее
Мыкола Скрыпник, наркомпрос.
Самоубьется он позднее.

Позднее: годом ли, двумя,
как лес в сезон лесоповала,
наручниками загремя,
с трибуны загремят в подвалы.

Пройдет еще не скоро год,
еще не скоро их забудем,
и, ожидая новых льгот,
мы, площадь, слушаем трибуну.

Низы,
мы слушаем верхи,
а над низами и верхами
проходят облака, тихи,
и мы следим за облаками.

Какие нынче облака!
Плывут, предчувствий не тревожа.
И кажется совсем легка
истории большая ноша.

Как день горяч! Как светел он!
Каким весна ликует маем!
А мы идем в рядах колонн,
трибуну с ходу обтекаем.

ПРОЗАИКИ

*Артему Веселому,
Исааку Бабелю,
Ивану Катаеву,
Александру Лебедежке.*

Когда русская проза пошла в лагеря —
в землекопы,
а кто половчей — в лекаря,
в дровосеки, а кто потолковей — в актеры,
в парикмахеры
или в шоферы, —
вы немедля забыли свое ремесло:
прозой разве утешись в горе?
Словно утлые щепки,
вас влекло и несло,
вас качало поэзии море.

По утрам, до поверки, смиренны и тихи,
вы на нарах слагали стихи.
От бескормиц, как палки, тощи и сухи,
вы на марше творили стихи.
Из любой чепухи
вы лепили стихи.

Весь барак, как дурак, бормотал, подбирал
рифму к рифме и строчку к строке.
То начальство стихом до костей пробирал,
то стремился излиться в тоске.

Ямб рождался из мерного боя лопат,
словно уголь, он в шахтах копался,
точно так же на фронте из шага солдат
он рождался и в строфы слагался.

А хорей вам за сахар заказывал вор,
чтобы песня была потягучей,
чтобы длинной была, как ночной разговор,
как Печора и Лена — тягучей.

А поэты вам в этом помочь не могли,
потому что поэты до шахт не дошли.

* * *

У каждого были причины свои:
один — ради семьи.
Другие — ради корыстных причин:
звание, должность, чин.

Но ложно понятая любовь
к отечеству, к расшибанью лбов
во имя его
двинула большинство.

И тот, кто писал: «Мы не рабы!»
в школе, на доске,
не стал переть против судьбы,
видимой невдалеке.

И бог — усталый древний старик,
прячущийся в облаках,
был заменен одним из своих
в хромовых сапогах.

БОГ

Мы все ходили под богом.
У бога под самым боком.
Он жил не в небесной дали,
его иногда видали
живого. На Мавзолее.
Он был умнее и злее
того — иного, другого,
по имени Иегова,

которого он низринул,
извел, пережег на уголь,
а после из бездны вынул
и дал ему стол и угол.
Мы все ходили под богом.
У бога под самым боком.
Однажды я шел Арбатом,
бог ехал в пяти машинах.
От страха почти горбата
в своих пальтишках мышиных
рядом дрожала охрана.
Было поздно и рано.
Серело. Брезжило утро.
Он глянул жестоко,
 мудро
своим всевидящим оком,
всепроницающим взглядом.

Мы все ходили под богом.
С богом почти что рядом.

НЕМКА

Ложка, кружка и одеяло.
Только это в открытке стояло.

— Не хочу. На вокзал не пойду
с одеялом, ложкой и кружкой.
Эти вещи вещают беду
и грозят большой заварушкой.
Наведу им тень на плетень.
Не пойду. — Так сказала в тот день
в октябре сорок первого года
дочь какого-то шваба иль гота,

в просторечии немка; она
подлежала тогда выселенью.
Все немецкое населенье
выселялось. Что делать, война.

Поначалу все же собрав
одеяло, ложку и кружку,
оросив слезами подушку,
все возможности перебрав:

— Не пойду! (с немецким упрямством)
Пусть меня волокут тягачом!
Никуда! Никогда! Нипочем!

Между тем надежно упрятан
в клубы дыма,
Казанский вокзал
как насос высасывал лишних
из Москвы и окраин ближних,
потому что кто-то сказал,
потому что кто-то велел.
Это все исполнялось притко.
И у каждого немца белел
желтоватый квадрат открытки.

А в открытке три слова стояло:
ложка, кружка и одеяло.

Но, застлав одеялом кровать,
ложку с кружкой упрятав в буфете,
порешила не открывать
никому ни за что на свете
немка, смелая баба была.

Что ж вы думаете? Не открыла,
не ходила, не говорила,
не шумела, свету не жгла,
не храпела, печь не топила.
Люди думали — умерла.

— В этом городе я родилась,
в этом городе я и подохну:
стихну, онемею, оглохну,
не найдет меня местная власть.

Как с подножки, спрыгнув с судьбы,
зиму всю перезимовала,
летом собирала грибы,
барахло на толчке продавала
и углы в квартире сдавала.
Между прочим, и мне.

Дабы
в этой были не усумнились,
за портретом мужским хранились

документы. Меж них желтел
той открытки прямоугольник.

Я его в руках повертел:
об угонах и о погонях
ничего. Три слова стояло:
ложка, кружка и одеяло.

ДВА СТИХОТВОРЕНИЯ

1.

Пристальность пытлиую не пряча,
с диким любопытством посмотрел
на меня угрюмый самострел.
Посмотрел, словно решал задачу.

Кто я — дознаватель, офицер?
Что дознаю, как расследую?
Допущу его ходить по свету я
или переправлю под прицел?

Кто я — злейший враг иль первый друг
для него, преступника, отверженца?
То ли девять грамм ему отвешено,
то ли обойдется вдруг?

Говорит какие-то слова
и в глаза мне смотрит,
взгляд мой ловит,
смотрит так, что в сердце ломит
и кружится голова.

Говорю какие-то слова
и гляжу совсем не так, как следует.
Ни к чему мне страшные права:
дознаваться или же расследовать.

2.

Я судил людей и знаю точно,
что судить людей совсем не сложно —
только погода бывает тошно,
если вспомнишь как-нибудь оплошно.

Кто они, мои четыре пуда
мяса, чтоб судить чужое мясо?
Больше никого судить не буду.
Хорошо быть не вождем, а массой.

Хорошо быть педагогом школьным,
иль сидельцем в книжном магазине,
иль судьей... Каким судьей? Футбольным:
быть на матчах пристальным разиней.
Если сны приснятся этим судьям,
то они во сне кричать не станут.
Ну, а мы? Мы закричим, мы будем
вспоминать былое неустанно.

Опыт мой особенный и скверный —
как забыть его себя заставить?
Этот стих — ошибочный, неверный.
Я не прав.
Пускай меня поправят.

ТРИДЦАТКИ

Вся армия Андерса — с семьями,
с женами и детьми,
сомнениями и опасениями
гонимая, как плетью,
грузилась в Красноводске
на старенькие суда,
и шла эта перевозка,
печальная, как беда.

Лились людские потоки,
стремясь излиться скорей.
Шли избранные потомки
их выборных королей
и шляхтичей, что на сейме
на компромиссы не шли,
а также бедные семьи,
несчастные семьи шли.

Желая вовеки больше
не видеть нашей земли,
прекрасные жены Польши
с детьми прелестными шли.

Пленительные полячки!
В совсем недавние дни
как поварихи и прачки
использовались они.

Скорее, скорее, скорее!
Как пену несла река
еврея-брадобрея,
буржуя и кулака,
а все гудки с пароходов
не прекращали гул,
чтоб каждый из пешеходов
скорее к мосткам шагнул.

Поевши холодной каши,
болея тихонько душой,
молча смотрели наши
на этот исход чужой,
и было жалко поляков,
детей особенно жаль,
но жребий неодинаков,
невысказана печаль.

Мне видится и сегодня
то, что я видел вчера:
вот восходят на сходни
худые офицера,
выхватывают из кармана
тридцатки
и тут же рвут,
и розовые
за кормами
тридцатки
плывут, плывут.

О, мне не сказали больше,
сказать бы могли едва
все три раздела Польши,
восстания польских два,
чем

в радужных волнах мазута
тридцаток рваных клочки,
покуда раздета, разута
и поправляя очки,

и кутаясь во рванину,
и женщин пуская вперед,
шла польская лавина
на английский пароход.

БУХАРЕСТ

Капитан уехал за женой
в тихий городок освобожденный,
в маленький, запущенный, ржаной,
в деревянный, а теперь сожженный.
На прощанье допоздна сидели,
карточки глядели.
Пели. Рассказывали сны.

Раньше месяца на три недели
капитан вернулся — без жены.

Пироги, что повара пекли —
выбросить велит он поскорее,
и меняет мятые рубли
на хрустящие, как сахар, леи.

Белый снег валит над Бухарестом,
Проститутки мерзнут по подъездам.
Черноватых девушек спрашивая,
ищет он, шатаясь день-деньской,
русую или хотя бы крашеную,
но глаза чтоб серые, с тоской.

Русая или, скорее, крашеная
понимает: служба будет страшная.
Денег много и дают вперед.
Вздрагивая, девушка берет.

На спине гостиничной кровати
голый, словно банщик, купидон.

— Раздевайтесь. Глаз не закрывайте, —
говорит понуро капитан.
— Так ложитесь. Руки — так сложите.
Голову на руки положите.
— Русский понимаешь? — Мало очень.
— Очень мало, — вот как говорят.

Черные испуганные очи
из-под черной челки не глядят.

— Мы сейчас обсудим все толково
Если не поймете — не беда.
Ваше дело — не забыть два слова:
слово «нет» и слово «никогда».
Что я ни спрошу у Вас, в ответ
говорите: «никогда» и «нет».

Белый снег всю ночь валом валит,
только на рассвете затихает.
Слышно, как газеты выкликают
под окном горластый инвалид.

Слишком любопытный половой,
приникая к щелке головой,
снова,
снова,
снова

 слышит ворох
всяких звуков, шарканье и шорох,
возгласы, названия газет
и слова, не разберет которых,—
слово «никогда» и слово «нет».

* * *

Как залпы оббивают небо,
так водка обжигает нёбо,
а звезды сыплются из глаз;
как будто падают из тучи,
а гром гремучий и летучий —
звучит по-матерну меж нас.

Ревет на пианоле полька.
Идет четвертый день попойка.
А почему четвертый день?
За каждый трезвый год военный
мы сутки держим кубок пенный.
Вот почему нам пить не лень.

Мы пьем. А немцы — пусть заплатят.
Пускай устроят и наладят
все, что разбито, снесено,
пусть взорванное строят снова.
Четвертый день без останова
за их труды мы пьем вино.

Еще мы пьем за жен законных,
что ходят в юбочках суконных
старошинельного сукна.
Их мы оденем и обуем
и мировой пожар раздуем,
чтобы на горе всем буржуям
согрелась у огня жена.

За нашу горькую победу
мы пьем с утра и до обеда
и снова — до рассвета — пьем.
Она ждала нас, как солдатка,
нам горько, так и ей не сладко,
ну, выпили?
Ну — спать пойдем...

КЛЮЧ

У меня была комната с отдельным ходом.
Я был холост и жил один.
Всякий раз, как была охота,
в эту комнату знакомых водил.

Мои товарищи жили с тещами
и с женами, похожими на этих тещ, —
слишком толстыми,
слишком тощими,
усталыми, привычными,
как дождь.

Каждый год старея на год,
рожая детей (сыновей, дочерей),
жены становились символами тягот,
статуями нехваток и очередей.

И СРАМ И УЖАС

От ужаса, а не от страха,
от срама, а не от стыда
насквозь взмокала вдруг рубаха,
шло пятнами лицо тогда.

А страх и стыд привычны оба.
Они вошли и в кровь и в плоть.
Их

даже
дня
умеет
злоба
преодолеть и побороть.

И жизнь являет, поднатужась,
бесстрашным нам,
бесстыдным нам
не страх какой-нибудь, а ужас,
не стыд какой-нибудь, а срам.

ЧТО ПОЧЕМ

Деревенский мальчик, с детства знавший,
что почем, в особенности лихо,
прогнанный с парадного хоть взащей,
с черного пролезет тихо.
Что ему престиж? Ведь засуха
высушила насухо
полсемьи, а он доголодал,
дотянул до урожая,
а начальству возражая,
он давно б, конечно, дуба дал.

Деревенский мальчик, выпускник
сельской школы, труженик, отличник,
чувств не переносит напускных,
слов торжественных и фраз различных.
Что ему? Он самолично видел
тот рожон и знает: не попрешь.
Свиньи съели. Бог, конечно, выдал.
И до зернышка сгорела рожь.

Знает деревенское дитя,
сын и внук крестьянский, что в крестьянстве
ноне не прожить: погрязло в пьянстве,
в недостатках рукава спустя.
Кончив факультет филологический,
тот, куда пришел почти босым,
вывод делает логический
мой герой, крестьянский внук и сын:
надо позабыть все то, что надо.
Надо помнить то, что повелят.
Надо, если надо,
и хвостом и словом повилять.

Те, кто к справедливости взывают,
в нем сочувствия не вызывают.
Тех, кто до сих пор права качает,
он не привечает.
Станет стукачом и палачом
для другого горемыки,
потому что лебеду и жмыхи
ел и точно знает, что почем.

* * *

Интеллигенты получали столько же
и даже меньше хлеба и рублей
и вовсе не стояли у рулей.

За макинтош их звали макинтошники,
очкариками звали — за очки.
Да, звали. И не только дурачки.

А макинтош был старый и холодный,
и макинтошник — бедный и голодный,
гриппозный, неухоженный чудак.

Тот верный друг естественных и точных
и ел не больше, чем простой станочник,
и много менее, конечно, пил.

Интеллигент! В сём слове колокольцы
опять звенят! Какие бубенцы!
И снова нам и хочется и колется
интеллигентствовать, как деды и отцы

* * *

Строго было.
но, с нами иначе нельзя.
Был порядок,
а с нами нельзя без порядка.
Потому что такая уж наша стезя,
не играть же нам с горькою правдою в прятки.

С вами тоже иначе нельзя. И когда
счет двойной бухгалтерии господ бога
переменит значения: счастье — беда, —
будет также и с вами поступлено строго.

* * *

Всем лозунгам я верил до конца
и молчаливо следовал за ними,
как шли в огонь во Сына, во Отца,
во голубя Святого Духа имя.

И если в прах рассыпалась скала,
и бездна разверзается, немая,
и ежели ошибочка была —
вину и на себя я принимаю.

НЕДОУМЕНИЕ

Как ты вышел?
Не было выхода —
ни щелей, ни дыр, ни дверей,
но ты вышел и мелкие выгоды
начал приобретать поскорей.

И не то чтобы мощною силищей
или острым умом обладал:
чуть толковей был
и чуть жилистей,
легче голодал, холодал,

и сносил невыносимое,
и не слишком ругал казну,
и не очень глядел на синюю,
на небесную голубизну.

АСТРОНОМИЯ И АВТОБИОГРАФИЯ

Говорят, что Медведиц столь медвежеватых
и закатов, оранжевых и рыжеватых —
потому что какой же он к черту закат,
если не рыжеват и не языкат,—

в небесах чужеземных я, нет, не увижу,
что граница доходит до неба и выше,
вдоль по небу идет, и преграды тверды,
отделяющие звезду от звезды.

Я вникать в астрономию не собираюсь,
но, родившийся здесь, умереть собираюсь
здесь! Не где-нибудь, здесь! И не там — только здесь!
Потому что я здешний и тутошний весь.

СОВРЕМЕННЫЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ

В то утро в Мавзолее был похоронен Сталин.
А вечер был обычен — прозрачен и хрустален.
Шагал я тихо, мерно
наедине с Москвой
и вот что думал, верно,
как парень с головой:
эпоха зрелищ кончена,
пришла эпоха хлеба.
Перекур объявлен у штурмовавших небо.
Перемотать портянки
присел на час народ,
в своих ботинках спящий
невесть который год.

Нет, я не думал этого,
а думал я другое:
что вот он был — и нет его,
гиганта и героя.
На брошенный, оставленный
Москва похожа дом.
Как будем жить без Сталина?
Я посмотрел кругом:
Москва была не грустная,
Москва была пустая.

Нельзя грустить без устали.
Все до смерти устали.
Все спали, только дворники
неистово мели,
как будто рвали корни и
скребли из-под земли,
как будто выдирали из перезябшей почвы
его приказов окрик, его декретов почерк:
следы трехдневной смерти
и старые следы —
тридцатилетней власти
величья и беды.

Я шел все дальше, дальше,
и предо мной предстали
его дворцы, заводы —
все, что воздвигнул Сталин:
высотных зданий башни,
квадраты площадей...

Социализм был выстроен.
Поселим в нем людей.

ПРОБА

Еще играли старый гимн
напротив места Лобного,
но шла работа над другим
заместо гимна ложного.
И я поехал на вокзал,
чтоб около полуночи
послушать, как транзитный зал,
как старики и юноши —
всех наций, возрастов, полов,
рабочие и служащие,
недавно не подняв голов
один доклад прослушавшие, —
воспримут устаревший гимн:
ведь им уже объявлено,
что он заменится другим,
где многое исправлено.
Табачный дым над залом плыл,
клубился дым махорочный.

Матрос у стойки водку пил,
занюхивая корочкой.
И баба сразу два соска
двум близнецам тянула.
Не убирая рук с мешка,
старик дремал понуро.
И семечки на сапоги
лениво парни лускали.
И был исполнен старый гимн,
а пассажиры слушали.
Да только что в глазах прочтешь?
Глаза-то были сонными,
и разговор все был про то ж,
беседы шли сезонные:
про то, что март хороший был,
и что апрель студень.
Табачный дым над залом плыл —
обыденный, буденный.
Матрос еще стаканчик взял —
ничуть не поперхнулся.
А тот старик, что хмуро спал,—
от гимна не проснулся.
А баба, спрятав два соска
и не сходя со стула,
двоих младенцев в два платка
толково завернула.
А мат, который прозвучал,
неясно что обозначал.

* * *

Ценности сорок первого года:
я не желаю, чтобы льгота,
я не хочу, чтобы броня
распространялась на меня.

Ценности сорок пятого года:
я не хочу козырять ему,
я не хочу козырять никому.

Ценности шестьдесят пятого года:
дело не сделается само.
Дайте мне подписать письмо.

Ценности нынешнего дня:
уценяйтесь, переоценяйтесь,
реформируйтесь, деформируйтесь,
пародируйте, деградируйте,
но без меня, без меня, без меня.

* * *

Мягко спали и сладко ели,
износили кучу тряпья,
но особенно надоели,
благодарности требуя.

Надо было, чтоб руки жали
и прочувствованно трясли.
— А за что?
— А не сажали.
— А сажать вы и не могли.

Все талоны свои отоварьте,
все кульки унесите к себе,
но давайте, давайте, давайте
не размазывать о судьбе,

о какой-то общей доле,
о какой-то доброй воле,
и о том добре и зле,
что чинили вы на Земле.

* * *

Люди сметки и люди хватки
победили людей ума —
положили на обе лопатки,
наложили сверху дерьма.

Люди сметки, люди смекалки
точно знают, где что дают,
фигли-мигли и елки-палки
за хорошее продают.

Люди хватки, люди сноровки
знают, где что плохо лежит.
Ежедневно дают уроки,
что нам делать и как нам жить.

Не домашний, а фабричный
у квасных патриотов квас.
Умный наш народ, ироничный
не желает слушаться вас.

Он бы что-нибудь выпил другое,
но, поскольку такая жара,
пьет, отмахиваясь рукою,
как от овода и комара.

Здешний, местный, тутошний овод
и национальный комар
произносит свой долгий довод,
ничего не давая умам.

Он доказывает, обрисовывает,
но притом ничего не дает.
А народ все пьет да поплевывает,
все поплевывает да пьет.

СЫН НЕГОДЯЯ

Дети — это лишний шанс. Второй —
данный человеку богом.

Скажем, возвращается домой
негодяй, подлец.
В дому убогом
или в мраморном дворце —
мальчик повисает на отце.

Обнимают слабые ручонки
мощный и дебелий стан.
Кажется, что слабая речонка
всей душой впадает в океан.

Я смотрю. Во все глаза гляжу —
очень много сходства нахожу.

Говорят, что дети повторяют
многие отцовские черты.

Повторяют! Но — и растворяют
в реках нежности и чистоты!

Гладит по головке негодай
ни о чем не знающего сына.
Ласковый отцовский нагоняй
излагает сдержанно и сильно:
не воруй,
не лги
и не дерись.
Чистыми руками не берись
за предметы грязные.

По городу
ходит грязь.
Зараза — тоже есть.
Береги, сыночек, честь.
Береги, покуда есть.
Береги ее, сыночек, смолоду.

Смотрят мутные его глаза
в чистые глаза ребенка.
Капает отцовская слеза
на дрожащую ручонку.

В этой басне нет идей,
а мораль у ней — такая:
вы решаете судьбу людей?
Спрашивайте про детей,
узнавайте про детей, —
нет ли сыновей у негодяя.

НАТЯГИВАТЬ НЕ СТАНЕМ УДИЛА

Натягивать не станем удила,
поводья перенапрягать не станем,
а будем делать добрые дела
до той поры, покуда не устанем.

А что такое добрые дела,
известно даже малому ребенку.
Всех, даже основных адептов зла,
не будем стричь под общую гребенку.

Ну что мы, в самом деле, все орем?
Где наша терпеливость, милость, жалость?
В понятие проступок уберем,
что преступлением обозначалось.

По году с наказания скостим,
и сложность апелляций упростим,
и сахару хоть по куску прибавим —
и то в веках себя прославим.

СТОЛЕТИЯ В СРАВНЕНИИ

Девятнадцатый век отдаленнее
и в теории
и на практике
и Танзании,
и Японии,
и Австралии,
и Антарктики.
Непонятнее восемнадцатого
и таинственнее семнадцатого.
Девятнадцатый век — исключение,
и к нему я питаю влечение.

О, пускай исполнение отложено
им замысленных помыслов всех!
Очень много было хорошего.
Очень много поставлено вех.

Словно бы впервые одумалось
и, одумавшись, призадумалось,
оценило свое калечество
разнесчастное человечество.
И с внимательностью осторожную
пожалело впервые оно
женщину,
на железнодорожное
с горя
бросившуюся
полотно.

Гекатомбы и армагеддоны
до и после,
но только тогда
индивидуального стона
общая
не глушила беда.
До и после
от славы шалели,
от великих пьянели идей.
В девятнадцатом веке жалели,
просто так — жалели людей.

Может, это и не годится
и в распыл пойдет
и в разлом.
Может, это еще пригодится
в двадцать первом и в двадцать втором.

* * *

Будущее, будь каким ни будешь!
Будь каким ни будешь, только будь.
Вдруг запамätуешь нас, забудешь.
Не оставь, не брось, не позабудь.

Мы такое видели. Такое
пережили в поле и степи!
Даже и без воли и покоя
будь каким ни будешь! Наступи!

Приходи в пожарах и ознобах,
в гладе. в зное, в холоде любом,
только б не открылся конкурс кнопок,
матч разрывов, состязанье бомб.

Дай работу нашей слабосилке,
жизнь продли. И — нашу. И — врагам.
Если умирать, так пусть носилки
унесут. Не просто ураган.

* * *

Все правила — неправильны,
законы — незаконны,
пока в стихи не вправлены
и в ямбы — не закованы.

Период станет эрой,
столетье — веком будет,
когда его поэмой
прославят и рассудят.

Пока на лист не ляжет
«Добро!» поэта,
пока поэт не скажет,
что он — за это,

до этих пор — не кончен спор.

* * *

*Владиславу Броневскому
в последний день его рождения
были подарены эти стихи.*

Покуда над стихами плачут,
пока в газетах их порочат,
пока их в дальний ящик прячут,
покуда в лагеря их прочат, —

до той поры не оскудело,
не отзвенело наше дело.
Оно, как Польша, не згинело,
хоть выдержало три раздела.

Для тех, кто до сравнений лаком,
я точности не знаю большей,
чем русский стих сравнить с поляком,
поэзию родную — с Польшей.

Еще вчера она бежала,
заламывая руки в страхе,
еще вчера она лежала
почти что на десятой плахе.

И вот она романы крутит
и наглым хохотом хохочет.
А то, что было,
то, что будет, —
про это знать она не хочет.

* * *

Лакирую действительность —
исправляю стихи.
Перечестъ — удивительно —
и смиренны и тихи.
И не только покорны
всем законам страны —
соответствуют норме!
Расписанью верны!

Чтобы с черного хода
их пустили в печать,
мне за правдой охоту
поручили начать.

Чтоб дорога прямая
привела их к рублю,
я им руки ломаю,
я им ноги рублю,
выдаю с головою,
лакирую и лгу...

Все же кое-что скрою,
кое-что сберегу.
Самых сильных и бравых
никому не отдам.

Я еще без поправок
эту книгу издам!

СОДЕРЖАНИЕ

«Снова нас читает Россия...»	3
«Зачем, великая, тебе...»	3
«Я строю на песке...»	3
«Мировая мечта, что кружила нам голову...»	4
Чаеотгоовцы	4
«В революцию, типа русской...»	5
Трибуна	6
Прозаики	7
«У каждого были причины свои...»	8
Бог	8
Немка	9
Два стихотворения	11
1. «Пристальность пытлиую не пряча...»	11
2. «Я судил людей...»	11
Тридцатки	12
Бухарест	14
«Как залпы оббивают небо...»	15
Ключ	16
Терпенье	17
И срам и ужас	18
Что почем	18
«Интеллигенты получали столько же...»	19
«Строго было...»	20
«Всем лозунгам я верил до конца...»	20
Недоумение	20
Астрономия и автобиография	21
Современные размышления	21
Проба	22
«Ценности сорок первого года...»	23
«Мягко спали и сладко ели...»	24
«Люди сметки и люди хватки...»	24
«Не домашний, а фабричный...»	25
Сын негодяя	25
Натягивать не станем удила	26
Столетия в сравнении	27
«Будущее, будь каким ни будешь!..»	28
«Все правила — неправильны...»	28
«Покуда над стихами плачут...»	29
«Лакирую действительность...»	30

Борис Абрамович СЛУЦКИЙ

БЕЗ ПОПРАВOK

Стихи

Составитель сборника Ю. Л. БОЛДЫРЕВ

Редактор О. Н. Хлебников

Технический редактор Т. Я. Ковыненкова

Сдано в набор 08.04.88. Подписано к печати 14.06.88. А 00359. Формат 70 × 108¹/₃₂. Бумага газетная. Гарнитура «Гарамонд». Офсетная печать. Усл. печ. л. 1,40. Усл. кр.-отг. 1,58. Учетно-изд. л. 1,50. Тираж 150000 экз. Заказ № 2298. Цена 15 коп.

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типография имени В. И. Ленина издательства ЦК КПСС «Правда». 125865. ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.